

Белла Улановская

ВАКУРИНСКАЯ БАРЫНЯ

— Апрельское солнце, бля, ласково греет влажную землю, — диктовал себе под нос долговязый Шубов, молодой румяный учитель вечерней школы, месяц назад выгнанный с работы. Он брел по разбитой дороге и хотел найти свое счастье на глухаринном току.

Он шел из Астафьево на Ершово болото, которое ему показал однажды его приятель, старик из соседней деревни. Кроме них, никто в округе этого места не знал. Ждал он этого дня целый год.

Он все еще не мог выбраться из огромного разросшегося в последнее время села, навстречу попадался чужой незнакомый народ. Как и все охотники, Шубов стремился избежать лишних встреч. Он не пошел прямо по улице, а свернул на картофельные огороды, перелезал через ограды, ковылял по кочковатому лугу, перешел овраг, все же пришлось выйти на верхний порядок, идти мимо фермы, домов нового образца с застекленными террасами, мимо занятых своими делами людей. Далеко впереди маячила торчавшая недоделанная трансформаторная будка, а дальше постройки должны как будто кончиться. За ней пора бы начаться полям.

Дорога начала подсыхать. От недавней распутицы остались глубокие гусеничные колеи, наполненные жидкой грязью.

Он давно миновал последние строения, но пейзаж не налаживался, тянулись и тянулись обезображенные окрестности. Но кто сказал, что стоит бросить все и уехать на охоту, как все переменится. Мысли прыгали, как мокрые обезьяны в клетке. Шубов вяло брел все дальше. Завалиться бы лучше спать и ни о чем не думать.

Все вокруг было, как после обыска, разворочено, вспорото, сдвинуто со своих мест. Валялись груды дренажных труб, керамические черепки, битый кирпич. На поверхности оказа-

лись вывороченные из-под земли валуны, корни деревьев. Пустые кабельные катушки съехали в ямы. Никто их отсюда не сдвинет, некому да и невозможно рассовать все по местам.

Последний год все что-то не хватало воздуха, трудно дышалось. Легко и просто было только с ребятами. Ученики вечерней школы не балуют посещением, но ему жаловаться не приходилось. Правда, вначале на каждый следующий день появлялись новые лица, а те, что были вчера, пропадали.

Хорошее слово "учитель", звучит честно, устойчиво, и загорелому судье, чувствовалось, приятно его лишний раз произнести, а он-то, дурак, поддался этой игре. Уж он разберется, показалось ему тогда, этот судейский гражданских дел, отечески строг, но справедлив, как открыто он глядел из-под очков и как отчаянно струсил потом, этот обветренный на ранних весенних работах владелец участка, откладывающий заседание за заседанием. Так и прошел месяц, в ожидании отложенного на час, на после обеда, на понедельник заседания, длинные неопрятные коридоры с брошенными стремянками маляров, вытасканными стульями и подоконниками в известке.

Хуже всего приходилось бедным теткам-коллегам, как робко они спрашивали, сколько продлится перерыв, успеют ли они спуститься вниз пообедать. Никто точно ничего не знал. Наконец на повороте коридора появлялся незнакомый горбун с иезуитски-сухим, прозрачным носом, в безукоризненном сером костюме, уверенно следовал в комнату заседания, усаживался в углу, рядом ставил на пустой стул превосходный портфель. За ним тянулись все в зал, опасливо рассаживались подальше от него, снова ожидание, ждали судью, который должен был куда-то то ли дозвониться, то ли откуда-то вернуться.

Шубов остановился. Дорога раздваивалась. Кажется, здесь надо сворачивать влево. Если он идет правильно, тогда скоро должен быть совхозный сарай, набитый доверху сеном. Здесь они в прошлом году сделали первую остановку, старик курил самокрутку, а Шубов в нетерпении теребил клочки сена.

Показался сарай с распахнутыми воротами, сено было подобрано подчистую. Отсюда до тока еще километров двадцать. Он вспомнил разговоры в машине, когда вчера ехал со станции. Попутчики обменивались новостями. Пьяный утонул в реке, на ферме норма сена каждой корове урезана до трех килограмм. Зоотехник распорядился выпустить скотину на воздух, тощие коровенки, увязнув в грязи, падали, не в силах подняться.

Ему вдруг захотелось посмотреть самому, как вылезает на свет божий перезимовавшая скотинка. Свалявшаяся шерсть, разъезжающиеся в грязи ноги, оцепенело опущенные головы, или наоборот, телячьи задранные хвосты, веселая припрыжка, крутая остановка, внезапный разворот и снова галоп.

Он засмеялся, подпрыгнул как-то боком и куснул свесившуюся над дорогой голую ветку.

В Астафьево он приехал вчера и все в доме тетушки было по-прежнему. Как всегда ему была отведена самая большая комната. Зимние рамы были выставлены, окна вымыты к майским праздникам, на подоконниках, на полу его комнаты стояли ящики и тазы с зеленью помидорной и капустной рассады. Празднично блестели чистые стекла, за рекой расстилались освободившиеся от снега голые холмистые поля, шумела вода у мельничной плотины. Всякий раз, приехав в деревню и спустившись к дому, который стоял под горой у самой реки, он удивлялся какому-то ровному и мощному гулу и только в следующий момент вспоминал, ну конечно, как он мог забыть чудесную плотину, усаженную тополями и шаткий мостик через бурлящий поток, на который ему в детстве запрещалось выходить.

— Приехал к нам работать? — вдруг спросила за чаем тетушка.

— Как? — испугался он, ему показалось, что он уже успел все выболтать.

— А так, что Вера Васильевна отказывается даже до конца учебного года довести, уходит на пенсию.

Разговор об этом заводился не в первый раз. Еще в сту-

денческое время тетушка любила помечтать, как он выучится, закончит университет, к тому времени Вера Васильевна отправится на пенсию, а Шубов переберется в деревню и станет учителем начальной школы. Шубову нравились такие разговоры, нравилась и сама Вера Васильевна, седовласая и неожиданно черноглазая.

Однажды он забрел к ней в школу. Еще издали Шубов услышал ее богатый голос, он заполнял все одноэтажное деревянное здание и разносился над голым косогором, как через первоклассный стереоусилитель, то повышаясь вопросительно, то радостно утвердительно спускался на низкие регистры, ни на минуту не умолкая. У нее занимались и старшие и младшие, все три класса одновременно. Вслед за ее голосом слышались детские, что-то они там за ней хором повторяли.

Зазвонил колокольчик, поднялся шум и топот, и Шубов вошел в дом. В сенях начался урок физкультуры. Они отчаянно маршировали под команду, дребезжало в углу ведро с водой. Потом начались прыжки в длину. Разбег в хлюпающих, не по размеру, резиновых сапогах, прыжок, приземление. Один уронил с ноги сапог, другой ушибся, кто-то пролил воду. Появилась нянечка, зазвонила раньше времени в колокольчик и сказала "урок окончен".

Не хватало только молодой рожицы-вокруг школы. Как это Вера Васильевна не догадалась со своими ребятами. Чем засадить косогор? Яблонями? сиренью? березой? Даурским рододендром! Горожане к нему уже успели привыкнуть, а здесь то-то будет удивление, когда в марте на голых прутьях распустятся невиданные лиловые цветы.

Тьфу, черт возьми, как быстро распорядился он чужой лужайкой, на которой траву косят, а сено продают.

Ничто не обходится без примерки. И чужое окно с уютной лампой и книжными полками, и встречная пышная ушанка, и двойные острожные ворота, медленно выпускающие спецмашину, это его везут, он не зарекался от тюрьмы и от сумы, и дикая утка на Неве среди льдов, и плотное облако под самолетом /непременно выдержит, вот бы поваляться на его перинах/, будки стрелочников — блеснет зеркало на голом столе,

повернется в окне, заслонив все внутреннее величие своего жилища, чудная железнодорожница, а уж он сам не свой. Случались также, и не раз, то прививка многодетности /семья приятеля/, то гибельной самоотверженности.

Есть люди благоухающие, а есть люди заразные.

Вот открылась дверь проходной. На минуту показался молоденький охранник с автоматом и с овчаркой на поводке, постоял на крыльце и скрылся; огромный темнокирпичный замок за высокой стеной с откровенно колючей проволокой, не слишком ли много за одну поездку на работу в городском троллейбусе. Паренек с собачкой заразил своей невинностью: он-то чем виноват, такая служба, он открывает дверь, выскакивает на крыльцо, снова скрывается. Мы все понимаем, мы сочувствуем, ты не виноват, твой монолог с крыльца увезен всем троллейбусом, да здравствуют все исповеди злодеев; пока ты слушаешь, яд капает в уши, как подогретое камфарное масло. Это потом можно, чтобы избавиться от неприятного ощущения в голове, прыгать то на одной, то на другой ноге, распалиться в гневе и омерзении, чтобы отравы поскорее отторглась, но скверна от заразного человека уже перешла к тебе, потому что ты как ни в чем не бывало стоял рядом, а не убежал, заткнувши нос.

— Кто сейчас не... — да-да, это так, вот ты и кивнул, вот ты и соучастник.

Итак, не успел оглянуться, а ты уже впрыгнул в чужую шкуру, уже оттуда киваешь, поддакиваешь, выпутываясь из душной шубы. Уф! Лучше слушать птичек, да и то смотря каких.

Однако скоро должно показаться Вакорино, а там до Ершова болота, если идти правильно и найти нужную просеку, хода часа два. Главное с заходом солнца быть на месте. Прошлый год в это время они уже были на старом моховом болоте и, сидя на поваленной березе, ждали подлета глухарей.

Ну ладно, на подслух он опоздал, место это верное, слетятся обязательно, вот успеет ли вообще туда до наступления ночи? Ведь вблизи тока надо еще ночевать, глухарь просыпается и начинает токовать в три часа утра. Еще ухают



ночные совы, потом в полной темноте подает голос первая утренняя птица-зарянка, холодрыга, как ни стараешься идти осторожно, кажется, что шум поднят на весь лес...

Жива ли Вакоринская барыня?

Прошлый год они так к ней и не завернули, прошли полным ходом мимо бывшей деревни Вакорино — развалин каменных фундаментов, обвалившихся колодцев, скворечников без крыш, добротнo прилаженных к березам, а на угоре, перед единственным во всей округе домом, заметили ее, четкую на фоне вечеряющего весеннего неба фигурку; ему показалось, она тогда даже ручку приложила ко лбу, разглядывая их, прохожих людей, классические охотничьи образы: телогрейки, котомки на спине, высокие сапоги и блестящие ружейные стволы за плечами.

Подмораживало, лужи затягивались ледком, комья грязи затвердели и даже под сапогом оставались крепкими...

Небо полностью прояснилось, поднялся ветер, кажется, глухарь вообще не запоет, а если и запоет, то бесшумно при таком хрусте к нему все равно не подобраться. Не переночевать ли в Вакорино, утром поохотиться на тетеревов и, если погода переменится, ждать следующей ночи.

Он свернул с дороги и пошел к одиноко стоящему на угоре дому. Мертво и страшно горела поздняя заря в единственном на всю деревню черном окне, последнем окне деревни Вакорино.

Дом казался нежилым. Ветхое крыльцо было заставлено какими-то кольями. Шубов разобрал нагромождения, поднялся на ступени, постучал в дверь. Никто не отзывался. Неужели ушла? Наверное, спит. Он заглянул в окно. Открой, хозяйка! Он застучал сильнее. Никакого ответа. Шумел поднявшийся к ночи северный ветер. Перед домом на пне он заметил брошенную рогожу, опрокинутое ведро вздрагивало при каждом порыве ветра. Шубов снова подошел к окну, по-прежнему отсвечивающему неподвижной северной зарей; прижав лоб к стеклу и загородившись руками от света, он попытался взглянуть вглубь темной избы.

— Пустите, Елена Ивановна, заезжего охотника, — он потоптался и добавил, — съезжинская мельничиха привет пе-

редает! Вдруг в избе что-то стукнуло и она рывкнула: "Что надо?"

- Да вот шел на Ершово болото да опоздал. Пустите погреться.

Наконец хозяйка открыла двери и впустила гостя. Она засветила керосиновую лампу, он снял ружье, поставил его в угол, бросил на пол котомку и сел на лавку.

- Оно не стрельнет? - спросила хозяйка. Голосок у нее был слабый, невыразительный, как у чухонки. - Ты чай будешь?

- Из Астафьево, к своим приехал.

- А я уже с топором стояла у двери, - заговорила она быстро. Это была скорая на язык невнятная тараторка, то ли девчонка, то ли старушка, с русыми волосами и наливными, как яблочки, красными щечками.

- Сколько сейчас времени? - спросила она и передвинула стрелки сразу на двух ходиках "кошачий глаз", они висели рядом и исправно показывали одно и то же время. Тут же он увидел два отрывных календаря с одним и тем же завтрашним числом. Она почему-то содержала каждой твари по паре. Только печка была одна, огромная, в пол-избы, и хозяйка была одна, так они и грели друг друга.

- А что, Елена Ивановна, почему бы вам собачку не завести?

- Пес был, да сбежал.

- Чем вы его кормили?

- Хлебцем с картошкой. Прохожие люди кинули ему кость, вот он мяса попробовал и пропал. Они ушли и он вслед за ними.

- Как же вы одна живете. Не страшно? Мало ли чего, кругом лес.

- Да кого мне бояться. Только вот кроты меня обижают.

- Кроты?

- Кроты. Тут кабаны, волки ходят, такие большие, высокие, до неба, веселые. - При упоминании о волках ее голос изменился. Такой грубый, хриплый голос он уже слышал из-за двери. Наверное, таким строгим голосом она разговаривает с настоящими волками. Чего надо? Пошли прочь.



Лет 10 назад перебрались вместе со своими домами на центральную усадьбу последние старики. Ее уговаривали переезжать. Замолчало радио и погас свет. Ненужные теперь столбы пошли своим чередом в печку. Населенного пункта Ва-корино в географии больше не числилось.

Тем временем вскипел самовар. Шубов выложил из мешка свертки, которые они с тетушкой укладывали. Чай, сахар, сало, соль, кружка. Двух буханок хлеба, которые он пригото-вил, не было. Главное он забыл уложить.

- И у меня нет хлеба, - сказала она.

Шубов не обратил особого внимания на ее слова. Он привык, что когда в доме нет свежего хлеба, то уж засох-ших кусков, недогрязенных пряников и печенья полным-пол-но на любой печке. У нее не нашлось и сухой корки. Зато она вынула из печи чугунок вареной, мелкой, как лосиный помет, картошки, и они принялись за ужин, - известная на всю округу дурочка, по прозвищу Вакоринская барыня, и ее случайный гость, сновали маятники ходиков, на столе све-тили две керосиновые лампы.

Старуха бросила на пол подушку, старую телогрейку и унесла лампы к себе на печку, прикрутила фитили, но совсем не погасила.

Шубов растянулся на полу и сразу заснул. Его разбудили клопы. Они тихо обрабатывали его шею. В избе было темно, за печкой коптили старухины лампы, делать нечего. Он бла-госклонно повернулся на спину. Скоро они ~~дадут~~ наедят-ся и уйдут. Какие-то они были хищные, робкие, не то, что казенные на одном северном лесопункте. Там были полчища от-кормленных, особенно вездливых. Ему потом рассказывали, что летом, в прежние времена, весь поселок выбирался из ба-раков на свежий воздух, но это не спасало, ненасытные пе-реселенцы прекрасно освоили близлежащие моховые кочки.

Пролетел самолет - равномерный уверенный гул, это не тот шум взлета или посадки, к которому привыкли в городе, это был равномерный и уверенный гул, который он любил. Сто-ит ему услышать его, как сразу вспоминается первая в его жизни охота на глухаря и первый ночлег в апрельском лесу.

Эх, сидел бы сейчас у костра, на свеженарубленном еловом лапнике, следил бы за вечерней звездой, стоило только засмотреться на огонь или задремать на минуту, а потом оглядеться, как ее уже не было на прежнем месте. Она оказывалась намного правее среди совсем других деревьев, а только что была как будто наколота на верхушку старой ели. То она совсем скрывалась в чаще, то показывалась снова.

Он закрывает глаза, сворачивается, прячет руки между колен. Холодно. Он снова ищет глазами свою звезду. Теперь она еле видна в черных шевелящихся лапах елей. Он встает и отходит от костра. Сразу делается темно и тихо. Вступает ветер и перекликаются совы-неясыги. Они всегда были тут, рядом, но за треском костра их было не слышно. Сначала кричит самец, потом вдали отзывается самка. Давно хочется обратно к огню, но когда еще услышишь это жуткое уханье.

Было около трех часов утра. В избе темно, лампы погасли. В самый раз стоять на болоте и прислушиваться к первой глухаркиной песне. Ну ничего. Он еще с час поспит, а потом и в окрестностях Вакорино чего-нибудь найдет, настреляет хозяйке какого-нибудь продовольствия.

С восходом солнца он уже обходил закрайки полей под неумолчное бормотание тетеревов, присматривался к полевым жирным дроздам, оглядывал голубиные крыши разваливающихся сараев, таранился в небо на токующего бекаса, крался берегом утино озерца.

Часам к десяти он вернулся, до смерти довольный, с небрежным видом бросил добычу посреди комнаты, уселся на лавку и закурил.

Хозяйка покосилась на роскошный натюрморт и продолжала заниматься своим делом у печки. Пришлось ему самому братья за ощипыванье. Наконец закипела вода, она равнодушно швырнула синие тушки в чугуи и задвинула его в печь. Мелькнула сморщенная черная лапка, скорее похожая на лягушачью, чем на лакомый кусок благородной дичи, зашипели от пролитой воды угли. Вдруг его потянуло на волю.

Утро еще не кончилось. Шубов подхватил вещмешок, попрощался с хозяйкой, в сених забрал одностволку и вышел.

Старуха пошла вслед за ним, что-то бормоча.

- Что вы говорите? - переспросил он.

- Открытку, открытку, - бормотала она.

- Какую открытку?

- Напиши на Пашнево.

- Я-то напишу, а кто ее принесет?

Они постояли перед домом. Весь пригорок был подрят и истоптан кабанями. Похоже, что они и минувшую ночь погуляли под окнами.

- Кабаняры, кабаняры, - она заговорила быстро, непонятно, какие-то люди, какие-то начальники, какие-то с пипиросами, пришли яблоки обирать и снова - кабаняры с мешками.

Шубов махнул рукой и пустился прочь с пригорка. Прощай тщедушная, но стойкая отъединенная звериная жизнь. Открытку к празднику ей принесет рождественский подсвинок.

Скоро он миновал Вакорино. Ну и расковыряла она топором, истопила всю округу.

Начались поля. Они были бескрайние и вдавались как заливы в сушу. Каждое поле, окруженное лесом, соединялось с другим, таким же.

Кругом заливались жаворонки. Первого жаворонка он услышал сразу, как приехал, но тогда его песня почему-то отозвалась в нем болью, и он старался забыть про нее.

Он понял, идея жаворонка - как ни в чем не бывало. Как всегда он прилетел к нам, будто не было зимы, морозов и метелей; и мы, замшелые шубы, пережили еще одну леденящую зиму, ключьями вылезает мех, вылетают бесшумные моли. Конечно, над невспаханными еще полями трепыхались легкими мячиками жаворонки.

Да, да, жаворонки. Значит, как ни в чем не бывало. А как же старая колымская история, которая не выходит у него из головы. История беглого, которого настигли в тундре и отрубили ему обе руки /на месте разберутся, снимут отпечатки пальцев и дадут награду/, и оставили в снегу, а он пришел и встал на пороге барака.

Если есть все это, как можно жить дальше, как ни в чем не бывало. Как можно писать по-прежнему, делать вид,

что всего этого нет. Сбежать в свою-какую-нибудь местность и литературно ее обживать и отапливать, как Прешвин или Паустовский, знать ничего не знаю, вот есть же еще паромщики, старые лодочники, перевозчики, лесные объездчики, а где-то слышны песни девушек /редактор переправит "колхозниц"/, вот тут у меня синицы долбят один и тот же большой кусок желтого прогорклого сала.

Над неспаханными еще полями трепыхались легкими мячиками жаворонки. Негодование, боль, любовь — все это бьется в нем одновременно горячим комком; то возобладает любовь и жаворонок кругами поднимается все выше и выше, пока не исчезнет из глаз, но нельзя жить как ни в чем не бывало, всегда с ним негодование и боль, и тогда его жаворонок неудержимо теряет высоту, он еще поет, машет крыльями, чтобы замедлить падение, но вот он уже на земле, затерялся среди прошлогоднего сора.

Шубов подождал, пока неустомимая птица снова взлетит и пойдет набирать высоту, и отправился дальше.

— В голове одни заплатки и не скажет ничего, — то напевал, то насвистывал он придуманную сегодня песенку.

